

О Пушкине: Биографическая диалогия. Литературные очерки. Лицейские стихотворения А. С. Пушкина . - (Круг чтения: школьная программа).
//Школа-Пресс, М.:, 1998
FB2: "rvvg ", 09 May 2010, version 1.0
UUID: EB0CA351-3747-4B8F-B7E0-4DA4D0C14F3B
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Василий Петрович Авенариус

Пушкин в селе Михайловском

Страница из жизни Пушкина

Содержание

#1	0003
I	0004
II	0010
III	0018
IV	0029
V	0034
VI	0044
VII	0051
ПРИМЕЧАНИЯ	0059

*Поэта дом опальный,
О Пущин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его лица превратил.
"19 октября"*

Было то в первой половине января 1825 года. В селе Тригорском (Опочецкого уезда, Псковской губернии), в доме вдовы-помещицы Прасковьи Александровны Осиповой (урожденной Вымдонской, по первому мужу — Вульф) вечерний самовар был только что убран из столовой, и хозяйка с тремя дочерьми и единственным гостем перешли в гостиную. На небольшом овальном столе перед угловым диванчиком горела уже лампа под зеленым абажуром. Сама Прасковья Александровна расположилась на своем председательском месте, посредине диванчика, и принялась раскладывать гранпасьянс. Старшая дочь (от первого брака) Анна Николаевна Вульф подседа к матери, чтобы лучше следить за раскладкой карт и в затруднительных случаях помогать советом. Сестра ее, Евпраксия Николаевна, а между своими — Зина или Зизи, предпочла отдельное кресло, чтобы заняться каким-то вышиванием. Младшая же сестра (от второго брака), подросточек Машенька, прикорнула на скамеечке у ног Ев-

практики Николаевны и, положив растрепанную головку с косичками к ней на колени, не отрывала глаз от молодого гостя, в ожидании, что-то он опять сострит или расскажет, чтобы посмеяться.

Гость этот был ближайший сосед их, Александр Сергеевич Пушкин, навещавший их чуть ли не каждый день из своего сельца Михайловского. Но оживленное настроение уже оставило Пушкина: он сидел с понурою головой в каком-то грустном раздумьи.

— У вас, Александр Сергеевич, верно, опять стихи на уме? — спросила девочка.

Пушкин очнулся и провел рукой по глазам.

— Стихи? — повторил он. — Нет... Так что-то...

Он взглянул на каминные часы и быстро приподнялся:

— Пора.

Все четыре хозяйки заговорили разом:

— Да куда же вы, Александр Сергеевич? Ведь совсем еще рано: всего девять. Посидите!

— Меня что-то тянет домой...

— А я знаю что! — объявила Машенька. —

Вам надо поскорей-поскорей записать хорошенькую рифму, пока не улетела.

— Нет, у меня какое-то внутреннее беспокойство, — серьезно отвечал Пушкин, — точно предчувствие...

— Вечно у вас эти предчувствия и приметы! — заметила Евпраксия Николаевна. — А до сих пор ничего еще не сбылось.

— Кое-что уже сбылось.

— Например?

— Например, предсказание старухи ворожеи Кирхгоф в Петербурге: "Du wirst zwei Mal verbannt sein", [1] и вот я второй раз в ссылке.

— Тем лучше: в третий раз, стало быть, ни за что уже не сошлют. Живите себе и пользуйтесь жизнью.

— Да, двенадцать лет еще впереди.

— Почему же именно двенадцать?

— Потому что та же Кирхгоф предрекла мне смерть, когда мне минет тридцать семь.

— Что за пустяки! — прервала его тут Прасковья Александровна. — Сыграй-ка ему, Зина, на фортепиано что-нибудь веселенькое, чтобы разогнать его мрачные мысли.

— А я знаю, чем его удержать! — подхвати-

ла Машенька и захлопала в ладоши.

— Чем?

— Да мочеными яблоками!

— Вот это так, вернее нет средства, — улыbnулась мать. — Беги же, милочка, неси скорей, пока Акулина Памфиловна еще не улеглась.

Девочка вихрем умчалась к старухе ключнице. Но затосковавшего поэта даже перспектива любимого его деревенского лакомства на этот раз не прельстила. Он взял шапку и окончательно распростился. Дамы пошли, однако, провожать его еще до передней. Только что слуга подал ему шубу, как влетела Машенька с полным салатником моченых яблок.

— И после этого будь любезной с гостем! Я едва-едва вырвала ключи от кладовой у нашей старой ворчуньи, а он удирает! Нет, сударь мой, извольте теперь кушать!

Достав из салатника ложкой одно яблоко покрупнее, она поднесла его к губам молодого гостя. Тому ничего не оставалось, как раскрыть рот пошире.

— Да ты сахаром-то не забыла посы-

пать? — спросила одна из сестер.

— Еще бы забыть для такого сластены! Разве не сладко? — отнеслась девочка к Пушкину.

У того рот был еще так полон, что он в ответ мог только промычать "мгм!" и кивнуть утвердительно головой.

— Жуете, жуете, как беззубый старик! — подтрунила над ним Машенька. — Разве угостить вас еще соком? Ну-с, раскройте-ка ротик.

Он опять беспрекословно исполнил требование; но угощение последовало с такою стремительностью, что едва половина попала по назначению; остальное же брызнуло ему за галстук и на шубу.

Это так рассмешило шалунью, что она с звонким хохотом запрыгала козой; вместе с нею запрыгали косички у нее на затылке, запрыгали и яблоки в салатнике, и штуки две-три покатались на пол, а за ними плеснула еще струя соку.

Мать и старшие сестры только ахнули и расступились, чтобы спасти свои платья; вслед за тем все разом рассмеялись, так же

как и Пушкин.

— Экая ведь егоза! — говорила Прасковья Александровна. — Дай-ка сюда салатник, а то и его, пожалуй, уронишь.

Освободившись от салатника, Машенька принялась собственным платком усердно обтирать забрызганную шубу гостя.

— Да вы стойте, пожалуйста, смирно! Не отряхайтесь, как пудель. Ну, вот и сухи. В благодарность вы должны написать мне тоже что-нибудь в альбом.

— Про пуделя?

— Да, про пуделя, то есть про себя. Напишите?

— Вот увидим.

— Неблагодарный!

— Облили человека вкуснейшим соком, а он даже оценить не хочет. Самая черная неблагодарность! До свиданья, mesdames...

— До свиданья, Александр Сергеевич! Завтра опять увидимся?

— Если чего не будет...

— Опять вы с вашими предчувствиями!

— Что делать! Во всяком случае, не поминайте лихом.

Свои прогулки из Михайловского в Тригорское, куда не было и трех верст, в летнее время Пушкин совершал либо верхом, либо пешком, в последнем случае — подпираясь толстою палкой и в сопровождении большой дворовой собаки. Зимой же, когда пролежавшая то лесом, то полями и открытая здесь ветрам дорога была занесена сугробами снега, ему, обыкновенно, запрягали легкие сани. Так было и на этот раз.

Луна была на ущербе и еще не всходила. Благодаря, однако, расстилавшейся кругом снежной скатерти, общие очертания окружающей местности можно было различать.

Что за безлюдье, что за тишина! Словно весь мир вымер и накрылся саваном... Пушкина еще сильнее охватило безотчетное уныние.

"Не то же ли и со мной? — говорил он себе. — Всю прошлую жизнь со всеми ее тревоженьями тоже снегом занесло. Кому в целом мире какое теперь дело до меня? Кому я нужен, кроме разве моей доброй няни, которая

сама в гроб глядит?"

Тут из белого полусумрака восстали перед ним около самой дороги три знакомые сосны. Но в своих нахлобученных белых шапках они представлялись ему обледеневшими, застывшими навеки исполинскими мумиями; а одна из них вверху раздвоилась — ни дать ни взять громадная бесструнная лира.

"На моей лире струны еще не порваны, — думалось Пушкину, — но для кого я бренчу в моей снежной пустыне? Сам себя только тешу!"

И везде-то та же мертвая тишь, снег на всем — и в роще, на деревянной часовенке, и за рощей, на избах крестьянских: все гробы да гробы! А вот и свой домик — свой гроб...

Няня, Арина Родионовна, очевидно, поджидала своего барины-питомца. Как только он из сеней ступил в коридор, куда выходили, одна против другой, двери к нему и к ней, старушка показалась на своем пороге с зажженной свечой в руке.

— Чтой-то, батюшка мой, больно рано вернулся? Аль неможется?

— Нет, ничего... — отвечал Пушкин, сни-

мая шубу и вешая на гвоздь. (Он раз навсегда запретил слабосильной старушке помогать ему при этом.) — А что, няня, без меня тут ничего не случилось?

— Чему еще случиться? — точно даже испугалась она и осенила себя крестом. — Господь нас помилуй!

— И не заезжал никто?

— Ни души человеческой.

— Странно!

— Чего тут странного, коли и так по неделям никто-то к тебе носу не покажет. Бедный ты у меня, сиротинушка!

Пушкин поморщился:

— Оставь это, Родионовна! Не люблю я твоих соболезнований, сама знаешь. Я долей своей очень даже доволен.

— А доволен, так и слава Богу. Да не заварить ли тебе малинового чаю с липовым цветом?

Пушкин слабо усмехнулся.

— Я же вовсе не простужен!

— Так ли, миленький мой! Ну, так ложись хоть сейчас, да хорошенько прикройся. Не пиши на ночь, сделай мне такую милость! Зав-

тра поспеешь.

— Хорошо, хорошо. Доброй ночи, няня!

— Дай вот только свечу тебе тоже зажгу...

Вот так Храни тебя Христос и ангел твой!

С наступлением холодов поэт наш довольствовался одной небольшою комнатою, выходявшею окном на двор и служившею ему одновременно спальнею, кабинетом и столовою. Была тут и кровать с пологом, был письменный стол, книжный шкаф и диван — чего же более?

Не взглянув даже на свои разбросанные на письменном столе писанья, он начал раздеваться. Улегшись, он точно так же не стал, по обыкновению, читать на сон грядущий, хотя книжка с закладкой лежала тут же на ночном столике, а тотчас погасил свечу.

Но сна не было. Кругом — полная ночная темь, ночная тишина; только стенные часы через коридор из комнаты няни в урочное время отбивают 10, 11, 12 раз каким-то похоронным боем, да ветер в трубе по временам жалобно завывает, как полуночные тени на погосте. Никогда еще, кажется, опальный поэт не чувствовал в такой мере свою оторван-

ность от целого света.

"Один, один! Тригорские соседки — преми-
льные, предобрые существа, спору нет, а все-та-
ки для тебя чужие. Няня, пожалуй, любит те-
бя, как родное детище; но у нее главная, чуть
ли не единственная забота: чтобы ты был здо-
ров, чтобы тебе елось и спалось вволю. Поде-
литься же своими сокровенными планами,
своими задушевными мыслями — решитель-
но не с кем. То ли дело было в лицее, в неза-
бвенном Царском Селе! Товарищей — трид-
цать человек, друзей — полдюжины, а один
друг, первый друг, — всегда около тебя, и
днем и ночью. Двери ведь рядом: на правой
дощечка с надписью: "№ 13. Иван Пущин"; на
левой: "№ 14. Александр Пушкин". И кровати
даже около той же тонкой стенки. Обидел ли
тебя кто до слез, просто ли невмоготу взгруст-
нется, — Пущин чутким ухом уже услышал,
стучится в стенку: "Что с тобой, Пушкин?" И
выскажешь ему все, как на исповеди, облег-
чишь наболевшую душу. С тех пор, правда,
наши дороги разошлись; сколько лет не вида-
лись, даже не переписывались. Но первая
дружба никогда не заглохнет. Где ты, Пущин?"

Вспоминаешь ли еще иногда своего старого друга?"

Хорошо, что темно: перед самим собой хоть не так стыдно утереть глаза... А ночь, безрассветная ночь тянется, тянется без конца!

Уже под утро изнывший поэт забылся тревожным сном.

Вдруг точно электрическая искра пробежала по его членам, и он разом пришел в себя.

"Что это? Почтовый колокольчик? Кого это в такую рань принесло? Эх их, однако! Совсем шальные: вломились в закрытые ворота, и колокольчик гремит уж у крыльца..."

Пушкин вскочил с постели и кинулся к окну. Так и есть: ворота настежь, а перед крыльцом — тройка, вся в мыле; пар с нее столбом. На облучке же — не ямщик, нет, а какой-то слуга, который, крепко натянув вожжи, тпрукает на разгоряченных коней.

"Господи! Да ведь это, никак, Алексей, человек Пущина! Может ли быть?"

Тут и сам барин, закутанный в енотовую шубу, начинает вылезать из саней и повертывается лицом.

— Пуцин!

Не думая уже о том, что может простудиться, Пушкин как был — босиком и в рубашке — выбежал из дверей и на крыльцо.

Мороз на дворе стоял крещенский, но Пушкин не чувствовал холода и с распростертыми руками ждал друга.

Тут и друг его завидел, вбежал к нему на крыльцо и, подхватив в свою шубу, на руках внес его в дом, в коридор, в спальню.

Стоят они посреди комнаты друг против друга, целуются, глядят один на другого со слезами на глазах, опять целуются — и не находят слов.

Немая сцена имела одну свидетельницу — Арину Родионовну. Заслышав стук двери и чьи-то незнакомые поспешные шаги, она взглянула в коридор, оттуда в открытую дверь своего барина — и остолбенела на пороге.

В следующее мгновение она уже поняла, что этот гость — школьный товарищ Александра Сергеевича, и, как к родному, кинулась к нему на шею. Пуцин, точно так же сообразив, кто эта старушка, крепко ее обнял и

поцеловал в обе морщинистые щеки.

Наперсница волшебной старины,
Друг вымыслов игривых и печальных...

К этой цитате из известных стихов своего друга он прибавил уже от себя в чистейшей прозе:

— А что, няня, с дороги недурно бы прибраться, умыться?

— Ахти! — всполохнулась няня. — Прочие-то комнаты у нас нетоплены...

— Да вот Алексей мой, коли нужно, поможет.

Но показавшемуся в дверях Алексею было не до старушки: он припал к руке ее молодого барина.

— Что ты, что ты, Алексей!.. — говорил Пушкин, сам его целуя и наскоро прикрываясь лежавшим на стуле халатом.

— Он также из твоих поклонников, — объяснил Пуцин, — многие твои стихи наизусть знает.

— Очень хорошо! — рассмеялся Пушкин. — Стало быть, я делаюсь уже, в некотором роде, народным поэтом?

Прибыл Пущин в восемь часов утра, а в половине девятого оба приятеля-лицеиста сидели уже в прибранной комнате и сами прибранные за дымящимся кофе с зажженными трубками, любовно переглядываясь, точно не могли наглядеться один на другого.

— Смотрю я вот на тебя, — заметил Пушкин, — и все глазам не верю: как это ты из блестящего артиллериста преобразился в обыкновенного, серого человечка, как мы, грешные! Ведь ты теперь по уголовной части?

— Да, брат, со мной не шути, — был шутливый ответ, — судья уголовного департамента московского надворного суда!

— Но как ты решился на такую жертву — махнуть из Москвы да в нашу трущобу?

— Жертва, на самом деле, не такая огромная: еще в Москве дошел до меня слух, что тебя из Одессы удалили сюда, в Псковскую губернию. Ну, а во Пскове у меня родная сестра: муж ее командует там дивизией. Вот я и отпросился на рождественские праздники в Пе-

тербург, к отцу; оттуда, после Крещенья, собрался на несколько дней к сестре...

— А от нее ко мне? — подхватил Пушкин, пожимая опять руку приятеля. — Мне все, брат, еще не верится, что мы вместе! Ты выехал из Пскова ведь с вечера?

— А то как же?

— И ехал всю ночь напролет? "О, дружба, это ты!" Но как это вы с Алексеем прискакали одни, без ямщика?

— Именно что прискакали. Свернули с большой дороги, мчимся среди леса по гористому проселку. Все мне казалось не довольно скоро: "Пошел, ямщик, пошел!" А тут, под гору, на всем скаку сани в ухабе набок — и ямщик в снег. Мы с Алексеем, не знаю уж как, удержались в санях. Схватили вожжи. Испуганная тройка несет во весь дух среди сугробов, в сторону не бросится: благо, лес кругом и снег по брюхо; править даже не нужно. Вдруг поворот, глядь — домчались и со всего маху в притворенные ворота.

Пушкин расхохотался.

— То-то я впросонках слышу гром и звон: землетрясение, что ли, или сам Зевес-Громо-

вержец пожаловал?.. Ах ты, мой милый, милый! Ну что, расскажи-ка, расскажи: что у вас там, в Москве? что в Питере? Что наши старые братья-лицеисты?

Удовлетворив первое любопытство брата-отшельника, Пущин сам приступил к вопросам:

— Когда тебя пять лет назад услали из Петербурга, я как раз был в отлучке, в Бессарабии, где гостил у той же сестры. Ведь провинился ты только стихами?

— Только — и своими, и чужими.

— Как так чужими?

— А так: все нецензурное, что ходило по рукам в Петербурге, приписывали мне. В один прекрасный день возвращаюсь вечером домой и узнаю от своего дядьки, что заходил какой-то подозрительный господин и предлагал ему пятьдесят рублей, чтобы дал только прочесть что-нибудь из моих писаний.

— Но тот ему, разумеется, ничего не дал?

— Понятно, нет. На всякий случай, однако, я тут же сжег все мои бумаги. И не напрасно: на другой же день я был приглашен к Мило-радовичу,^[2] и первый вопрос его ко мне был

о моих бумагах. "Граф, — сказал я ему, — все мои стихи сожжены. В квартире у меня вы ничего не найдете. Но, если вам угодно, все найдется здесь (Пушкин указал на лоб свой). Прикажите подать бумаги: я напишу вам все, что когда-либо написано мною, — разумеется, кроме напечатанного и всем известного". "Ah c'est chevaleresque! [3]" — сказал Милорадович и пожал мне руку.

— И ты написал целую тетрадь, — досказал Пуцин. — Мне потом об этом говорили. Хлопотали о тебе ведь и Карамзин, и добрейший наш Энгельгардт. [4]

— И не даром: меня отправили только проветриться в более благоприятный климат.

— А чтобы ты не болтался по-пустому, тебя назначили на коронную службу?

— Да, в распоряжение генерала Инзова, попечителя колонистов южного края, да со всеми онерами: с соответственным чином и с прогонами на дорогу. Родители дали мне с собой надежного человека, Никиту, из наших крепостных; а Дельвиг с Яковлевым проводили меня до Царского: других из друзей-лицей-

стов в то время в Питере не было. Из Царского я пустился уже один с Никитой на перекладной по Белорусскому тракту.

— А знаешь ли, Пушкин, что мы с тобою чуть было не встретились?

— Что ты говоришь!

— Ведь было то в мае месяце?

— В начале мая, да.

— А я, прогостив в Кишиневе у сестры до апреля, ехал обратно в мае как раз тем же Белорусским трактом. От скуки на одной станции заглядываю в книгу, куда записываются подорожные: не найдется ли знакомых имен? И вдруг читаю: «Пушкин». Что за оказия! Зову станционного смотрителя: "Скажите на милость: какой это Пушкин проезжал у вас здесь вчера?" — "А поэт, — говорит, — Александр Сергеевич". — "Не может быть! Куда ему ехать и зачем?" — "А в Екатеринослав, на службу, кажется, — в красной русской рубахе, в опояске, в поярковой шляпе..."

— Да, это самые верные приметы, что на службу! — рассмеялся Пушкин. — Но этакая, право, досада, что мы так и не встретились с тобой; то-то наговорились бы...

— Ну, теперь зато наверстаем. Инзова, вообще, ведь хвалят?

— О, это золотой старик! Он принял меня не как начальник, а как отец, стал утешать, что и в провинции люди живут. За три года я вполне успел оценить его доброту.

— Но в Екатеринославе ты пробыл ведь недолго?

— Всего две недели.

— Только-то?

— Взял я, видишь ли, со скуки лодку покататься на Днепре. Время стояло жаркое; соблазнился я выкупаться, да, разгорячась, слишком долго, видно, пробыл в воде и схватил горячку. Но все к лучшему: благодаря болезни я попал на Кавказ, на дивный Кавказ!

— Инзов дал тебе сейчас отпуск?

— Да, на несколько месяцев. На мое счастье в то самое время через Екатеринослав проезжали на Кавказ Раевские и предложили мне место в своей коляске. Ведь ты, Пущин, тоже знаешь Раевских?

— Двух Николаев Николаевичей, отца и сына, героев Двенадцатого года? Кто их не знает, хотя бы понаслышке! Ведь сын теперь,

кажется, в лейб-гусарах?

— Да, и уже в чине ротмистра, хотя годом меня моложе. Узнав, что я в Екатеринославе и больной, отец вместе с сыном тут же разыскали меня в моей жидовской хате, в бреду, без лекаря, за кружкой оледенелого лимонада. Сопровождавший их в дороге военный доктор, Рудыковский, обрил мне голову и закатил хины. В коляску я лег еще больной, а через неделю совсем ожил. Хворать в таком обществе, впрочем, и не приходилось: кроме нас, мужчин, ехали еще в двух каретах две дочери Раевских, две дочери Рудыковских, англичанка, компаньонка...

— Ты щеголял перед ними с обритой головой?

— Нет, в феске; она была мне, говорят, очень к лицу.

— Верю: тип у тебя подходящий. А на Кавказе ты, что же, купался в минеральных источниках?

— Во всяких: сперва в серных горячих и кислосерных теплых, потом в железных и кислых холодных. От вод я точно возродился: только бы жить да наслаждаться жизнью. А

что за жизнь: дичь и воля! Жили мы то в палатках, то в калмыцких кибитках; восходили на заоблачные выси, ночевали под открытым небом. Вокруг — горы да горы, на горах — черкесские аулы; а по ту сторону горной цепи — гром пушек, бой и смерть!

— А вас самих черкесы не беспокоили?

— Бог миловал. Но когда в начале августа мы двинулись в Крым, нас провожал конвой из шестидесяти казаков, а сзади тащилась пушка с зажженным фитилем.

— Не спи, казак: во тьме ночной

Чеченец ходит за рекой! -

продекламировал Пущин. — Как видишь, стихи твои и я даже помню. Читая твоего "Кавказского пленника", сейчас чувствуешь, что писано прямо с натуры.

— А вот представь, что на Кавказе я предавался почти полному *dolce far niente*, [5] написал только эпилог к моему «Руслану». Впечатления природы восстают в памяти гораздо цельнее и живее уже впоследствии.

— Но фабулу своего «Пленника» ты обрел на месте?

— Нет, я слышал ее еще ранее от одного

дальнего родственника, Немцова, удивительного мастера на выдумки; он рассказывал, и чрезвычайно правдоподобно, что попал будто бы в плен к черкесам и был освобожден черкешенкой.

— А ты его увековечил? Он должен быть тебе очень благодарен. Ну, а до Южного берега Крыма вы ехали все в экипажах?

— Нет, в Керчи мы сели на военный бриг: когда не качает, нет путешествия приятнее. От Феодосии я всю ночь даже провел на палубе. В ночной темноте, под шум волн, меня охватила опять та сладостно-грустная истома, для которой один только исход — стихи.

— И что же, ты поставил себе этакую стихотворную мушку?

— Поставил: сочинил целую элегию,[6] после чего уже со спокойной совестью заснул. Когда же с восходом солнца открыл глаза, то не знал сперва: сон ли то еще или нет? Бриг наш стоял против очаровательного Юрзуфа.[7] Глаз бы не оторвал. А три недели, которые я провел там у Раевских, — счастливейшие дни моей жизни!

— Та-а-а-к... — протянул Пуцин, с внима-

тельным лукавством заглядывая в черты своего друга-поэта, которые при одном воспоминании о "счастливейших днях жизни" мечтательно просияли. — Что же, у Раевских там хорошая дача?

— Лучшая на всем побережье, кроме, разумеется, Алушкинского дворца; но принадлежит она не им, а герцогу Ришелье,[8] который предоставил ее на все лето в полное распоряжение отца Раевского, своего старого товарища.

— Как же ты проводил там время?

— А поутру прямо с постели с молодым Раевским я отправлялся к морю! Купанье дивное! Возвратясь домой, я предавался кейфу под тенью кипариса, к которому привязался чувством, похожим на дружбу. А там оживленные беседы и споры с остальной молодежью, совместные прогулки, поездки в горы...

— И сам ты, как всегда, центр всеобщего оживления?

— Нет, обе Раевские — девушки умные, начитанные, особенно старшая, Екатерина Николаевна; благодаря ей и брату я начал читать там Байрона в оригинале, а Байрон —

бесконечная тема для разговоров. Но и младшая, Елена Николаевна, хотя ей было тогда всего шестнадцать лет, самостоятельно упражнялась в переводах с английского Вальтера Скотта и Байрона; последнего даже стихами.

— На русский язык?

— Нет, на французский. В доме у них вообще разговор ведется по-французски.

— И ты поправлял ее стихотворные упражнения?

— Она мне их вовсе не показывала. Но раз как-то в саду под окнами ее комнаты мы с ее братом подобрали клочки исписанной бумаги. Тут я узнал, что это ее писанья. Перевод оказался прекрасным.

— Еще бы! — улыбнулся Пущин. — И ты, в свою очередь, стал воспевать ее уже не в переводе, а в оригинале?

По легкому румянцу на щеках поэта можно было догадаться, что друг его попал в цель. Но Пушкин уклонился от прямого ответа.

— Все это *tempī passati*...[9] — тихо вздохнул он и вдруг быстро оглянулся на скрипнущую дверь. — А, няня!

— Ну что, касатики мои, наговорились? — спросила Арина Родионовна, входя к двум друзьям и ласково оглядывая обоих. — Не с кем ведь ему, бедненькому, окромя меня, и слова-то перемолвить! Все, вишь, один да один! Говорила уж ему, чтобы сестрицу свою, Ольгу Сергеевну, сюда выписал; детьми жили ведь, бывало, душа в душу...

— Да что ей скучать со мною всю зиму в деревне! — прервал Пушкин.

— А ведь тебе здесь, Александр, в самом деле иной раз, должно быть, скучновато? — заметил Пущин.

— С музой моей я живу в ладу, захочется сказок послушать — у няни их непочатый край; а взгрустнется — так до соседок наших в Тригорском рукой подать. Знаешь что, Пущин: не съездить ли нам сейчас к ним? И мать, и дочери — прелюбезные, премилые...

— Верю тебе, дружище, — сказал Пущин. — Но приехал я сюда ради тебя одного; знакомиться же, хотя бы и с милыми людьми, на один день, чтобы потом уже вовеки не встре-

чаться, что за радость? Дай мне на тебя-то взглядеться.

— А что он, батюшка, за пять лет много переменялся? — любопытствовала Арина Родионовна.

— Немного, только бакенами оброс да лицом что-то бледен.

— А все оттого, что целый день над бумагами своими сидит, — одно горе! Летом хошь у озера погуляет, у речки. Озеро-то у нас Петровское важнее; да и речка Сороть хорошая...

— Жаль, значит, что мне нельзя их теперь видеть!

— Такая уж жалость! Было бы, по крайности, чем похвастать перед столичным гостем.

— А что же, няня, — вставил Пушкин, — будто тебе уже нечем похвастать?

— Чем мне хвастать-то?

— Как чем? Да своей рукодельной командой.

— Мастерницы они у меня, точно, стыдиться нечего. Только рукоделье-то деревенское...

— Вот это-то и дорого для столичного человека, — сказал Пущин. — Я с особенным удо-

вольствием посмотрел бы, как они у тебя работают.

Все морщины на лице старушки разгладились, расплылись от блаженной улыбки.

— Коли так — милости просим.

Оба приятеля последовали за нею через коридор в ее покои. Еще из-за притворенной двери доносилось оттуда звонкое щебетанье нескольких молодых женских голосов. При входе господ пять-шесть девушек, сидевших за пядьцами, с поклоном встали. Арина Родионовна, важно приосанясь, начала обход, объясняя гостю каждую работу. Тот, хотя и не знал толку в женских рукоделиях, не мог, однако, не видеть, что работа очень аккуратная и чистая, и почел долгом сказать как мастерицам, так и их руководительнице несколько ласковых слов.

— О, она у нас — настоящий ротный командир! — шутливо заметил Пушкин. — Такая строгость и дисциплина, что ой-ой-ой!

Девушки не выдержали, захихикали; но «командирша» только повела глазами — и хохотушки разом присмирели.

— А что, Александр, не покажешь ли ты

мне и остальных своих владений? — спросил Пуцин, когда они выбрались опять в коридор.

— Они на зиму заперты и нетоплены, — отвечал Пушкин.

— Что ж такое? Мне бы только окинуть взором, как ты тут устроился.

Пушкин отпер ближайшую дверь в довольно просторную комнату, посреди которой стоял бильярд. Навстречу им пахло совершенно зимней стужей.

— Однако! — сказал Пуцин. — Тут, в самом деле, хоть волков морозь. Когда же и с кем ты играешь на бильярде?

— А вот, до морозов играл в два шара с самим собой.

— Весело, нечего сказать! Да что ты, братец, дров, что ли, жалеешь?

— Не я, мой друг, а Родионовна, — отвечал Пушкин, понижая голос. — Она у меня, ты не поверишь, как бережлива...

— Бережливость бережливости розь. Запереть своего барина, обожаемого вдобавок, как арестанта, в одну клетушку! Это, как хочешь, некрасиво. Сейчас ей так и скажу...

— Оставь, пожалуйста! Зачем огорчать старуху? До весны и так уж недолго...

— Недолго! Целых четыре месяца.

— Да мне в моей клетушке, уверяю тебя, даже уютней: не так хоть пусто...

На этих словах Пушкин расчихался.

— Ну вот, — сказал Пуцин, — и насморк готов! Идем-ка, идем опять в твою клетушку. А няне твоей я все-таки этого не спущу.

И пока Пушкин запирал опять бильярдную, он постучался к няне:

— А, Арина Родионовна! Пожалуй-ка сюда на расправу.

Но как только та выглянула из-за двери: "Что, батюшка мой", — Пушкин предупредил приятеля:

— Да вот он, как волк, проголодался и хочет знать, скоро ли ты наконец угостишь его обедом?

Старушка руками всплеснула:

— А у меня, старой, и из ума вон! Сейчас бегу на кухню, милые вы мои, сию минуту!

И дверь ее захлопнулась у них перед носом.

В «клетушке», действительно, было куда уютней: затопленная тем временем печь весело трещала, распространяя тепло и свет. В ожидании обеда два друга, обнявшись за плечи, начали ходить вместе взад и вперед.

— В Крыму ты, значит, пробыл всего три недели и вернулся опять в Екатеринослав? — возобновил Пуцин прерванный давеча няней разговор.

— Нет, туда я, к счастью, уже не попал, — отвечал Пушкин. — Раевские завезли меня сперва в Киевскую губернию, в село Каменку, к матери старика Раевского, а оттуда, через несколько дней, я отправился прямо в Кишинев, куда между тем перебрался уже Инзов со своим попечительным комитетом.

— Он был ведь назначен наместником Бессарабской области, вместо Бахметева?

— Да, временно, пока тот вылечится от ран, а через год, когда и генерал-губернатор Ланжерон уехал за границу в бессрочный отпуск, Инзову поручили управлять также всем Новороссийским краем. Поселился я было в

глиняной мазанке одного русского переселенца, но Инзов предложил мне две комнатки в своем наместническом доме: одну — собственно для меня, другую — для моего Никиты.

— Дом этот проездом мне, помнится, показывали; стоит он ведь особняком на пригорке?

— Да, и окна мои выходили прямо в сад, на виноградник. Под скатом — лощина с речкой Быком и озером; налево — каменоломни и новый город, а на горизонте — горы с белыми мазанками. Вид чудесный — даже сквозь решетки окон.

— Так тебя держали за золотой решеткой, как жар-птицу? — усмехнулся Пуцин. — А столовался ты где?

— Где придется: у Инзова, у знакомых в городе, а то и в «Зеленом» трактире.

— Знаю! Прислуживала там молодая молдаванка, Мариола, у которой такой славный голос.

— Вот, вот! Одну из ее песен — "Черную шаль" — я переложил по-русски: весь Кишинев потом знал ее наизусть.

— Счастливым ты человек, Пушкин! Благодаря своему стихотворству ты везде делаешься желанным гостем.

— Ох да! Даже слишком желанным: первое время от дамских альбомов мне не было отбою. Пришлось прибегнуть к радикальному средству.

— А именно?

— Одна барышня, считавшая себя неотразимой, при всякой встрече напоминала мне, что я ничего еще не написал ей. Чтобы отвязаться, я поднес ей мадригал, в котором воспевал ее до небес. Она была в восторге и на первом же вечере в доме своих родителей показала мои стихи своим соперницам. А те как взглянули, так и покатались со смеху.

— Это почему?

— Потому что внизу стояло: "1 апреля".

— Экий ведь проказник! И другим ты, верно, подносил тоже разные сюрпризы?

— Случалось. Раз, например, одна барыня за столом спустила с ног башмаки...

— Верно, от жары?

— Надо думать. Но привычка все-таки не похвальная. Я уронил салфетку и нагнулся за

нею под стол; вдруг вижу — два башмачка; значит, не нужны. Как же было не убрать их?

— Хорош! А барыня что же?

— Она страшно разобиделась и пожаловалась мужу. У нас вышли с ним крупные объяснения, и не вмешайся мои приятели, пришлось бы, вероятно, стреляться.

— Но с кем-то ты там, кажется, стрелялся?

— Даже дважды: арапская кровь! Нелепее всего, что все из-за пустяков. В первый раз дело было за карточным столом. Один офицер, как я подметил со стороны, играл нечисто и обыгрывал других наверняка. Когда те стали расплачиваться, я прямо заявил, что такие проигрыши платить грех.

— То есть ты обозвал его шулером? Понятно, что после этого он должен был тебя вызвать! Но ты мог ведь и отказаться.

— Чтобы прослыть за труса? Благодарю покорно. Зато, когда мы сошлись с ним на дистанции, я взял с собой полную фуражку черешен, и пока он в меня целился, я преспокойно ел мои черешни.[10]

— Лучший способ доказать свое презрение к противнику! Но сердце у тебя, признайся,

все-таки екало?

— Ничуть. В минуту обиды я вспыхну как порох, а как дойдет до расплаты — я уже не волнуюсь.

— И он тебя не ранил?

— Нет. Рука, видно, дрогнула.

— А ты его?

— Я спросил только: "Довольны ли вы?" Он в ответ раскрыл мне объятья, а я — повернул к нему спину.

— Вот это так! Ну, а второй случай был у тебя с кем?

— Тоже с военным — с командиром егерского полка Старовым. В городском казино танцевали. Я дирижировал танцами и велел играть мазурку. Вдруг откуда ни возьмись — молоденький армейский офицерик и кричит музыкантам: "Кадриль!" Я повторяю: "Мазурку!" Он свое: "Кадриль!" А я, смеясь: "Мазурку!" Музыканты, хоть и полковые, послушались меня, как дирижера, и заиграли мазурку. Начальник офицерика, полковник Старов, подозвал его к себе и потребовал, чтобы тот призвал меня к ответу. Бедняга опешил: "Да как же-с, полковник, я пойду объясняться с

ними? Я их совсем не знаю..." — "Не знаете? — оборвал его Старов. — Так я объяснюсь за вас". И, подойдя ко мне, он объявил, что я должен тотчас извиниться перед его подчиненным. Я, понятно, наотрез отказался, и на другое же утро мы стояли с ним у барьера. Но была сильная метель, нельзя было целиться хорошенько, и снег забивался в пистолеты. Оба мы дали по два промаха и отложили дело, пока не пройдет метель; а тем временем нас помирили.

— Опять тебя Бог спас! — сказал Пущин.

— Да, верно, я Ему еще нужен. Впрочем, дело это имело еще маленький эпилог. Старов участвовал в кампании Двенадцатого года и заслужил славу храброго рубаки. Поэтому примирение его со «штафиркой» возбудило в городе большие толки. Два дня спустя, играя в ресторане на бильярде, я своими ушами слышал, как бывшие тут же в бильярдной ом. Я подошел к ним и прямо объявил: "Как мы покончили со Огаревым, — это наше дело; но я уважаю Старова, и если вы, господа, позволите себе еще осуждать его в моем присутствии, то я приму это за личную обиду, и вы будете

иметь дело уже со мною".

— И что же эти господа?

— Смутились и стушевались. В этого времени я слыл в городе отчаянным головорезом, — со смехом заключил Пушкин. — Да как же, помилуй: человек в архалуке, в бархатных шароварах, непричесанный, неприлизанный, гуляет по улице запанибрата с генералами и размахивает при этом железной дубинкой! А местным тузам — армянам и молдаванам — режет правду в глаза, да еще в стихах! Кто-то по поводу слова «бессарабский» скаламбурил даже на мой счет: "бес арапский". Но виноват ли я, скажи, что моей африканской натуре надо было перебеситься?

— И что, кишиневцы давали тебе к тому столько прекрасных поводов? — досказал Пущин.

— У большинства там, действительно, вся цель жизни сводится к вину, картам и танцам. Но ты не думай, Пущин, что на уме у меня были одни дурачества. Между тамошним офицерством и чиновничеством было несколько человек с высшими умственными интересами. Сам Инзов, при всей простоте об-

ращения, — человек просвещенный, начитанный, особенно по истории и естественным наукам. У него сходилась свой избранный кружок, в котором можно было отвести душу. [11] Здесь обсуждались все злобы дня — литературные, общественные, политические; а когда началось это несчастное восстание турецких христиан, мы все возгорели ненавистью к их притеснителям и готовы были также ринуться в бой... Есть моменты, когда ради ближнего готов поставить жизнь на карту!

— Ты, как поэт, в особенности. Восстание это если и было бесплодно, то для тебя послужило новым предметом вдохновенья.

— Для поэта, мой друг, весь окружающий мир, вся жизнь представляют неисчерпаемый источник вдохновенья: садись только да пиши. Кишиневцы видели во мне, конечно, прежде всего опасного ветреника, который при случае может щегольнуть стихом. Для Инзова с его кружком я был еще добрым малым. Едва ли кто из них подозревал, что я живу двойною жизнью: одною — с ними, другою — с самим собой. Я вел постоянную переписку с петербургскими литераторами; я пе-

речитал массу книг не только на русском языке и трех главных иностранных, но и на итальянском, на испанском. Как школьник, который взялся наконец за ум, я пополнял те пробелы, что оставил у меня лицей. А сколько я работал над своим слогом, над каждым стихом!.. Одну поэму, которая меня не удовлетворяла, я даже сжег.[12]

— Зато твой «Пленник», твой "Бахчисарайский фонтан" читаются теперь с восхищением всей Россией. Но ты позволишь мне, как другу, сделать одно замечание?

— Говори, пожалуйста.

— Ты зачитывался ведь Байроном? И в поэмах твоих слышится как будто тот же Байрон.

Пушкин слегка покраснел.

— Я сам чувствую это лучше всякого! — вздохнул он. — Но что поделаешь против этого мирового гения? Как-то невольно поддаешься ему и вторишь! За новейшую мою поэму «Цыганы» меня тоже, пожалуй, упрекнут в "байронизме"...

— Так не пора ли тебе отделаться от него?

— Я и то здесь, в Михайловском, принялся за Шекспира и начинаю набираться от него

совсем нового, свежего духа. Что за мощь, что за глубина, что за знание человеческих страстей! В нашей литературе нет, к сожалению, ничего подобного.

— В трагическом роде — нет; в комическом же есть нечто столь же, пожалуй, великое и притом совершенно самобытное, русское.

— Ты о чем это говоришь, Пушкин?

— О грибоедовском "Горе от ума".

— Мне много писали уже об этой комедии из Петербурга, но я до сих пор так и не читал ее, потому что она еще не разрешена к печати.

— Так прочти ее в рукописи.

— Да откуда ее взять?

— Откуда? Из моего чемодана: я привез ее тебе в презент.

Пушкин, ходивший все время обнявшись с приятелем, схватил его теперь за плечи и крепко затряс:

— Вот человек! Привез с собой такую прелесть и хоть бы слово! Давай же ее сюда, скорей, скорей!

Хотя драгоценная рукопись и появилась из чемодана Пущина, но читать ее сейчас же Пушкину не пришлось: няня, накрывавшая на стол, запротестовала и заставила их сесть, чтобы "каша не остыла".

— И ничего лучше каши для редкого гостя ты, няня, не придумала? — укорил ее Пушкин.

— Да не сам ли ты, родимый, не раз говаривал, что гречневая каша вкуснее всякой похлебки? — оправдывалась старушка.

— Разумеется, вкуснее, — поддержал ее гость, — гречневая каша сама себя хвалит. Еще в лицее у нас не было блюда почетнее.

*Блажен муж, иже
Сидит к каше ближе.[13][14]*

Оба лицеиста обнаружили к любимому блюду такой «лицейский» аппетит, что хлопотавшая около них Арина Родионовна могла быть совершенно довольна. Когда же она подала второе блюдо — жареного гуся, начиненного капустой и яблоками, — торжество ее

было полное: наперерыв уплетая за обе щеки, они только похваливали и гуся, и хозяйку-няню.

— Остается запить доброй домашней наливкой, — сказал Пушкин, протягивая руку за одной из стоявших перед ними бутылок.

— погоди! — остановил его за руку Пущин и мигнул старушке.

Та только ожидала этого знака и юркнула за дверь. Вслед за тем рядом в коридоре хлопнула пробка. Пушкин, недоумевая, поднял голову.

— Это что такое?

— Салютная пальба, — усмехнулся Пущин.

Влетевший в это время Алексей поспешил наполнить им стаканы из завернутой в салфетку длинногорлой бутылки.

— Но откуда сие, Пущин? — спросил Пушкин, торопя отпить, пока пенистый напиток не перебежал через край.

— Из Шампаньи, от вдовы Клико.

— Это мы, ваша милость, по пути сюда, ночью в Острове раздобыли, — пояснил со своей стороны Алексей. — Насилу-то в винном погребе достучались!

— За царя и Русь! — возгласил Пушкин и звонко чокнулся с другом.

Второй тост был за процветание лица, третий — за отсутствующих друзей.

— А теперь за няню из нянь, — сказал Пущин. — Алексей! Вторую бутылку!

Арина Родионовна стала было уверять, что не пьет этих заморских вин, но когда пригубила стакан, так не скоро уже отняла его от губ.

— После искрометного "аи"[15] пить домашнее варево как-то даже не пристало, — заметил Пушкин. — Вот что, няня: убери-ка эту наливку к себе в девичью и угости своих мастериц во здравье дорогого гостя.

— Помилуй, батюшка! Чтобы я сама их поила...

— А вот Алексей тебе поможет. Голубчик, Алексей, угости-ка их всех там хорошенько. Мы веселы — так пусть все веселятся.

Алексей знал, видно, свое дело: немного погодя из девичьей через две притворенные двери долетели женские голоса с раскатыстым смехом и хоровая песня.

Между тем няня подала господам кофе и

трубки.

— Вместо ликера уьемся теперь грибоводским сладким "Горем", — сказал Пушкин и, взяв рукопись, стал читать ее вслух.

Во всей читающей России едва ли нашелся бы в то время больший знаток и ценитель изящной литературы, как Пушкин. Какое поэтому эстетическое наслаждение должен был он испытывать при первом чтении несравненной комедии! Не раз прерывал он сам себя, чтобы выразить свой восторг или сделать какое-нибудь меткое замечание.

Но чтение внезапно было прервано посторонним лицом. Кто-то подъехал к крыльцу. Пушкин выглянул в окно — и поспешно отложил в сторону рукопись, а вместо того раскрыл на письменном столе лежавшую тут же "Четьи-Минею".

— Что это значит? — спросил Пуццин. — Кто это к тебе пожаловал?

Пушкин еще не ответил, как на пороге показалось то лицо, которое произвело такой переполох, — пожилой монах низенького роста. Оба друга, один за другим, подошли под его благословение. Усадив нового гостя на ди-

ван, Пушкин шепнул няне, чтобы подала живее чаю с ромом. Монах между тем назвался Пуцину настоятелем Святогорского Духова монастыря, отстоящего в пяти верстах от сельца Михайловского.

— Прошу извинить, буде помешал, — продолжал он. — Но до сведения моего дошло, что сюда прибыл гость по фамилии Пуцин, и я чаял найти моего старого знакомца, уроженца великолуцкого, Павла Сергеевича Пуцина, коего давно не видал.

Украдкой переглянувшись с Пушкиным, который что-то совсем присмирел, Пуцин объяснил, что он — школьный товарищ Пушкина, однофамилец же его, генерал Пуцин, командует бригадой в Кишиневе.

— Так-с, — проговорил отец игумен. — Тоже стишки пописывать изволите?

— Во всю жизнь ни одного стиха не сочинил, — отвечал Пуцин.

— Хвалю. А то, в самом деле, что за радость в молодые годы из-за каких-то четырех строчек-с сидеть в четырех стенах четыре месяца... Ведь столько времени мы с вами здесь, кажись, уже знакомы? — отнесся он к Пушки-

Ну.

— Около того...

— Да-с, четыре месяца, из коих — почему знать? — могут стать и четыре года!

— О каких таких четырех строчках вы говорите, святой отче? — спросил Пуцин.

— О четырех стрелах наиострейших и наидовитейших... Да вот сам Александр Сергеевич лучше моего вам о сем доложит.

— Из Кишинева, как ты знаешь, я попал в Одессу в канцелярию графа Воронцова, назначенного новороссийским генерал-губернатором, а также и наместником бессарабским, вместо Инзова.

С этими словами Пушкин, в оправдание своего разлада с новым начальником, дал такую откровенную характеристику Воронцова, что отец настоятель счел нужным положить конец его объяснению:

— Не прекратить ли нам сию тему? Не вам, юнцу, наставлять на стезю правую мужа великородного и нарочито государственного, имеющего за собой многообразные заслуги.

— Да я их не отрицаю и даже охотно взял бы теперь обратно свою эпиграмму...

— И благо. Сам Сын Божий глаголет: "Радость бывает на небеси о едином грешнике кающемся..." Господину же наместнику, сами изволите видеть, ничего не оставалось, как просить о водворении вашем в гнезде родительском. Да, да! Воистину, язык мой — враг мой.

Наступило довольно тягостное молчание. Пущин попытался было завязать опять речь о чем-то постороннем; но разговор не клеился, и после второго стакана чаю отец игумен приподнялся с дивана.

— Прошу вдругорядь прощения, что помешал приятельской беседе.

И благословив опять хозяина и его приятеля, он удалился.

— А всему я виною! — воскликнул Пущин. — Без меня он и не подумал бы тебя беспокоить.

— Полно, любезный друг, — сказал Пушкин. — Ведь он и без того нередко меня навещает: я поручен его наблюдению. Теперь послушаем опять Грибоедова.

И чтение бессмертной комедии возобновилось.

VII

Стенные часы за стеною не раз уже били, а Пушкин все читал да читал с тем же увлечением, совсем забыв, казалось, что он еще у себя, в Михайловском, а не в грибоедовской Москве.

Не то — с Пущинным: уже во время последнего монолога Чацкого он подозрительно поглядывал на топившуюся днем, но давно уже закрытую печку и поводил в воздухе носом; при заключительном же возгласе Фамусова:

Ах, Боже мой! Что станет говорить

Княгиня Марья Алексевна! -

он вскочил на ноги и сам возгласил:

— Что станет говорить она — я не знаю, да и знать не желаю; но что мы оба с тобой здесь угорим — в этом, брат, для меня не может быть ни малейшего сомнения.

— А ведь и в самом-то деле, — сказал Пушкин, возвращаясь к действительности, — как будто дымом запахло.

— Не дымом, душа моя, а чистейшим угором: у меня на этот счет собачье чутье. Сейчас пойду узнаю.

Как раз, когда он ступил в коридор, с противоположного конца показалась старушка няня с зажженной свечой.

— Матушка, Арина Родионовна! — взмолился к ней Пуцин. — За какие такие провинности ты меня из дому выкуриваешь?

— А нешто и к вам уже туда запахло? — всполошилась она. — Для тебя же, касатик, нарочно две горницы истопила, которые всю зиму не топились, да, знать, рано трубы закрыла...

Пуцин укорительно покачал головой:

— Ай, няня, няня! А зачем ты их зимой не топишь? Или дров жаль?

— Знамо, жаль.

— А своего барина не жаль? Из-за сажени-другой дров он, бедняга, всю зиму, как сурок, сидит в одном углу; ни в бильярд ему поиграть нельзя, ни прогуляться по собственному дому. Ай, няня, няня!

У пристыженной старушки на глазах навернулись слезы.

— Да он хошь бы словечко сказал мне...

— Он — взрослый младенец, так где же ему думать о себе? Кому печься об нем, как не

той, которая его вынянчила, которую и сам он любит, кажется, более всех людей на свете?

Няня была окончательно растрогана.

— Да я для него, моего ненаглядного, хошь весь дом день и ночь топить буду!

— Ну, ночью-то, пожалуй, и не для чего. А теперь первым делом откроем-ка опять трубы.

Когда это было ими сделано, Пущин сам замкнул на ключ двери в угарные помещения, открыл форточку в комнате друга и вместе с ним перебрался временно к Арине Родионовне, откуда ее подначальная команда давно уже разбрелась на покой. Старушке было особенно горько, что гость, несмотря на все упрашивания ее и барина, решил-таки уехать восвояси тою же ночью. Перед отъездом, однако, он просил Пушкина познакомить его еще с последними цветами своей музы. Так, по возвращении их в «клетушку» поэта, началось опять чтение — уже собственных его произведений, еще не появившихся в печати, в том числе и поэмы "Цыганы".

— А этот Алеко — не сам ли ты, братец? —

спросил Пушкин. — Ведь Алеко — Александр?

— Александр.

— И, как твой герой, ты тоже кочевал по Бессарабии с цыганами?

— Об этом история умалчивает, — загадочно усмехнулся Пушкин. — Во всяком случае, я никого на своем веку не зарезал — разве что стихом. Так поэма, по-твоему, недурна?

— Весьма даже. Ты, Пушкин, все совершенствуешься. Пройдет немного лет — и вся Россия признает тебя отцом нашей литературы, с которого в ней началась новая эра.

— Эх куда хватил! — сказал Пушкин, но глаза его радостно заблестали.

— Верь мне, верь. А главное — верь в самого себя, в свой талант. Ты упиваешься теперь трагедиями Шекспира, и я предвижу, что не пройдет года, как ты сам примешься за русскую трагедию.

— Признаться, перечитывая на досуге «Историю» Карамзина, я, действительно, остановился на чрезвычайно драматическом сюжете — судьбе первого Самозванца.

— Что я говорю! Но то еще впереди; а до поры до времени дай-ка мне с собой твоих

«Цыган» для "Полярной звезды". Рылеев[16] будет счастлив.

— Вторая половина «Цыган» у меня еще не отделана...

— Так дай хоть начало. Ты диктуй, а я буду писать.

И подойдя к письменному столу, Пущин отыскал между разбросанными там бумагами чистый лист гусиных же перьев хотя и было несколько, но все — с обкусанными или обожженными бородками.

— Ты все еще, я вижу, не отделался от скверной лицейской привычки — писать оглодками, которых и в пальцах-то не удержать, — заметил Пущин. — Ну, как-нибудь нацарапаем. Начинай.

И под диктовку Пушкина он живой рукой «нацарапал» начало поэмы. Еще в начале чтения Пушкиным своих собственных стихов в комнату незаметно прокралась няня и усе-лась со своим чулком в уголке у печки. Едва смея шевелить вязальными спицами, она с благоговением не сводила глаз со своего питомца, готовая слушать его хоть до утра; если иное в его стихах и было ей недоступно, то их

звучное сочетание как волшебною музыкою ласкало ее слух; ведь все-то это было сложено им самим, ее Александром Сергеевичем! Тут вошел Алексей.

— Не пора ли закладывать, сударь? Второй час ночи на исходе.

— И то пора! — спохватился Пущин. — Ведь третья бутылка у тебя еще не почата?

— Никак нет-с.

— Так подай ее сюда: разопьем на расставанье.

— погоди, Алексей! — вмешался Пушкин. — Няня! А что же закуска?

И вот на столе опять закуска, в стаканах опять играет и пенится напиток Шампани... Но когда сдвинутые стаканы зазвенели, у обоих друзей упало сердце — обоим стало так невыразимо грустно, что хоть плачь.

— За скорое свиданье в Москве, — проговорил Пущин, но таким унылым тоном, точно сам он не верил в возможность встречи...

Пушкин молча только головой кивнул, осушил стакан до дна и затем крепко-крепко обнял друга, как бы предчувствуя, что им никогда уже не свидеться.

— Лошади поданы, — объявил, входя, Алексей, и в подтверждение его слов от крыльца донесся перезвон колокольцев.

В то же время часы за стеной пробили три раза.

— Три — счастливое число, — сказал с притворною веселостью Пуцин, насильно отрываясь от друга. — Спасибо тебе, брат, за чудный день!..

— Тебе, брат, спасибо! — отвечал Пушкин, еще раз целуя его и в лоб, и в губы. — В одиночестве моем на меня подчас находила не то хандра, не то отчаянье в самом себе; теперь же, благодаря тебе, я опять совсем ободрился. Спасибо, дружище!

Алексей, дожидавшийся барина в открытой двери с шубою, накинул ему ее на плечи. Арина Родионовна стояла тут же, утирая глаза.

— Смотри же, няня: хорошенько храни мне его! — сказал Пуцин и, наскоро обняв, поцеловав старушку, выбежал на крыльцо, вскочил в сани.

Между тем Пушкин, светивший ему с крыльца нагоревшею свечой, говорил ему

что-то; но за фырканием лошадей и звяканьем колокольцев Пуцин не мог расслышать его слов. Только когда сани тронулись, вслед ему явственно донесся последний привет:

— Прощай, друг!

Своим приездом в село Михайловское Пуцин оказал другу-поэту, несомненно, двоякую услугу — и духовную, и материальную; поэзия воспрянувшего духом Пушкина расцвела еще пышнее, а няня уже перестала скупиться на дрова и топила весь дом.

Сам же Пуцин, вскоре заброшенный обстоятельствами на край света — в Читу (в Сибирь), получил там, три года спустя, в январе 1828 года, следующие строки:

Мой первый друг, мой друг бесценный!

*И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.*

*Молю святое Провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!*

ПРИМЕЧАНИЯ

С. 458. ...*муж ее командует там дивизи-
Сей...* — Сестра Пу-щина, Екатерина Иванов-
на (1791–1866), была замужем за гене-
ралом Иваном Александровичем Набоковым
(1787–1852).

С. 459. ...*со всеми онерами* — со всем, что
полагается, что не-обходимо.

С. 467. ... *одну из ее песен* — "Черная шаль"...
— Известное стихотворение Пушкина "Чер-
ная шаль" ("Гляжу, как безумный, на черную
шаль...") в первых публикациях имело подза-
головок "Молдавская песня". Стихотворение
было положено на музыку А. Н. Верстовским
и пользовалось огромным успехом.

С. 473. «Четъи-Миня» — жития святых на
каждый день месяца (в данном случае — на
январь).

С. 477. ...*предчувствуя, что им никогда уже
не свидеться.* — Декабрист И. И. Пущин про-
был на каторге и в ссылке до 1856 г. Весть о
гибели Пушкина привез в Сибирь тюремный
офицер В. В. Розенберг. "Это был для меня, —
вспоминал Пущин, — гро-мовой удар из без-

облачного неба — ошеломило меня, вся скорбь не вдруг сказалась на сердце. Весть эта электрической искрой со-общилась в тюрьме — во всех кружках только и речи было, что о смерти Пушкина — об общей нашей потере" (*Пуцин И. И. Записки о Пушкине. М., 1956*).

Note1

Ты будешь два раза сослан.

[^^^]

Note2

С.-Петербургский генерал-губернатор в то время.

[^^^]

Note3

Это по-рыцарски.

[^^^]

Note4

Директор Царскосельского лицея.

[^^^]

Note5

Сладостному безделью (ит.).

[^^^]

Note6

Элегия "Погасло дневное светило...".

[^^^]

Note7

Прелестный уголок южного побережья, о котором говорил Пушкин, называют теперь Гурзуфом. В своем "Путешествии Онегина" поэт так описывает свои тогдашние впечатления:

*Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля
При свете утренней Киприды,
Как вас впервой увидел я;
Вы мне предстали в блеске брач-
ном:
На небе синем и прозрачном
Сияли груди ваших гор;
Долин, деревьев, сёл узор
Разостлан был передо мною.
А там, меж хижинок татар...
Какой во мне проснулся жар!
Какой волшебною тоскою
Стеснилась пламенная грудь!
Но, муза, прошлое забудь!*

[^^^]

Note8

Тогдашний одесский генерал-губернатор.

[^^^]

Note9

Дело прошлое (ит.).

[^^^]

Note10

Этой темой Пушкин отчасти воспользовался впоследствии для своего рассказа "Выстрел".

[^^^]

Note11

Из членов этого кружка упомянем только о генерале Михаиле Федоровиче Орлове, который участвовал прежде в петербургском литературном обществе «Арзамас» под прозвищем Рейна, в 1812 году первым из русских вступил в Париж, за свою храбрость и заботливость о солдатах заслужил название "цвета русских генералов", а в 1821 году, в бытность в Кишиневе, женился на старшей Раевской, Екатерине Николаевне, приятельнице Пушкина по Гурзуфу.

[^^^]

Note12

Поэму «Разбойники»; напечатанный затем отрывок из нее случайно сохранился у младшего Раевского.

[^^^]

Note13

* * *

[^^^]

Note14

* Поговорка эта сложилась у лицеистов в Царском Селе по поводу одного из наказаний за дурное поведение — смещение на нижний конец стола, тогда как кушанье раздавалось дежурным гувернером на верхнем конце.

[^^^]

Note15

Vin d'Ay — шампанское.

[^^^]

Note16

Поэт, редактор "Полярной звезды".

[^^^]